

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

КНИГИ
ИРИНЫ МУРАВЬЁВОЙ —
ПОДЛИННОЕ УКРАШЕНИЕ
ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ,
ИЗЫСКАННАЯ ПРОЗА
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ГУРМАНОВ
В ЛИТЕРАТУРЕ:

- Любовь фрау Клейст
- Веселые ребята
- Портрет Алловити
- День ангела
- Напряжение счастья
- Сусанна и старцы
- Жизнеописание грешницы Аделы
- Отражение Беатриче
- Страсти по Юрию
- Вечер в вишневом саду
- Полина Прекрасная
- Райское яблоко
- Соблазнитель
- Имя женщины — Ева
- Я вас люблю
- Ты мой ненаглядный!
- Дневник Натальи
- Елизаров ковчег
- Младенческие опыты женщины
- Шестая повесть И.П. Белкина

Семейная сага «Я вас люблю»:

- Барышня
- Холод черемухи
- Мы простимся на мосту

ИРИНА
МУРАВЬЁВА

ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА



МОСКВА
2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М91

Художественное оформление серии
А. Старикова

Муравьёва, Ирина.
М91 Весёлые ребята / Ирина Муравьёва. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 352 с. — (Любовь к жизни. Проза И. Муравьёвой).

ISBN 978-5-699-88199-4

Это роман о первой любви московских старшеклассников. Любви, когда у мальчишек, рвущих от нетерпения кнопки и тесемки на женственных и невинных платьицах подруг, дрожат и наливаются огнем руки. Любви, когда, звеня бедрами и зашпиливая обеими руками на макушке волосы, девчонки впервые ощущают абсолютную власть над мужчиной. Это роман о детской неопытности и наивной мудрости, о ревности и страсти, о страданиях и слезах счастья!

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-88199-4

© **Муравьёва И., 2016**
© **Оформление.**
ООО «Издательство «Э», 2016

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Раздевалка девочек была отделена от раздевалки мальчиков тонкой перегородкой, через которую было слышно все, включая дыхание и шелест чулок. В закутке, общем для обеих раздевалок, стоял запах острого пота, внутри которого плавало множество побочных запахов, начиная от кислого — резины — и кончая горьковатым запахом польских духов «Черная кошка». Сильнее всего пахло от Юли Фейгензон. От ее влажной, в мягких глубоких складках полноты, на которой еле застегивалась старая школьная форма. Мы сидели на одной парте, и каждое движение ее смуглой руки с короткими пальцами, каждое ленивое почесывание ладонью заросшего темным пушком виска или машинальное погружение карандаша в глубину каштановых, с золотом, слипшихся кудрей приводило к тому, что мокрая, в белесых разводах подмышка, высунувшись из складок передника, ударяла по моим ноздрям дикой силы сладковатым неподвижным запахом, который, как мне казалось, и был душой Фейгензон, выражал собою всю ее — девочку из бедной семьи, молчаливую, рано созревшую, которая уже в девять лет носила огромный, серого цвета лифчик, плохо училась и смотрела на мальчиков смеющимися темными глазами в густых ресницах.

Переодеваясь для урока физкультуры, я старалась выбрать лавку подальше от Фейгензон, которая, кстати

сказать, на физкультуру ходила редко и каждый свой пропуск объясняла учителю Николаю Ивановичу — бешеному фронтовику — тем, что у нее «это дело». А Николай Иваныч раздувал волосатые ноздри, всем своим нутром переживая то, что приходится выслушивать, и, упершись левым зрачком в ее распираемый мощной грудью передник, махал рукой с плоскими ногтями потомственного алкоголика:

— Ладно!

Она так просто, так доверчиво сообщала, что не сможет ни перепрыгнуть через козла, ни сделать березку, будто Николай Иваныч был школьной медсестрой, а не чужим человеком, мужчиной, чуть было не сломавшим однажды руку Сергею Чугрову за то, что тот, долговязый и неловкий, карабкаясь по шведской стенке, поскользнулся и неожиданно съехал вниз, прямо на шею растерявшегося от неожиданности, но тут же налившегося сизой кровью физкультурника, который изо всей силы схватил Чугрова за руку и так резко рванул ее вниз, что хрустнули все суставы. Наши мальчики обходили Фейгензон вниманием, она была слишком большой, потной и неподвижной, в то время как им до смерти хотелось вертлявых девчонок с тонкими талиями и темными сосками, которые проступали под майками во время все той же физкультуры, когда раскрасневшаяся одноклассница, сверкая глазами, неслась к кожаному, продранному с одного бока козлу, чтобы под одобрительные покрикивания ломких басков перескочить через него, если получится, а если нет, то упасть, будто ее сразила пуля, на блестящий от пота, продавленный мат, вспыхнув полоской кожи между задравшейся майкой и сатиновыми трусами.

В это утро они сидели на лавочке втроем: Фейгензон, Орлов и Чернецкая. Фейгензон было четырнадцать,

потому что она поступила в школу немного позже, а Орлову и Чернецкой тринадцать. Кончался март, долгий, промозглый месяц, когда воздух в высоких, наполовину забеленных окнах актового зала наполняется торопливой надеждой непонятно на что, а снег на земле сжимается и темнеет, как стариковская кожа.

В отличие от тошнотворно пахнущей Фейгензон с ее постоянным посмеиванием и мокрым ртом, Чернецкая была аккуратно причесана, быстроглаза, надушена и без усталости кокетничала со всеми лицами мужского пола, начиная со свирепого Николая Ивановича и кончая учителем истории Робертом Яковлевичем, высоким, с тремя скрюченными пальцами, торчащими из обтянутого кожей отростка, — вместо правой руки, и пустым рукавом, засунутым в карман пиджака, — вместо левой. Чернецкая кокетничала и с ним, и с Николаем Ивановичем, и с председателем совета дружины прыщавым Володей, и с милиционером, который руководил переходом через Смоленскую площадь, и с каждым из тех черноусых кубинцев, борцов за свободу и независимость, которые появились однажды в нашей школе на утреннике благодаря ее же, Чернецкой, матери, переводчице с испанского, работающей в Доме дружбы — небольшим, завитом, как улитка, старинном особняке, в котором, говорят, когда-то, еще в прошлом веке, умерла целая дворянская семья, отравившись конфетами.

Чернецкая кокетничала голосом, ресницами, плечами, руками, ногами. Она кокетничала всем существом и по правилам, которые были от рождения впаяны в ее плоть и кровь, а безнадежно отставшие мальчишки, не готовые к ее откровенному женскому зову, ошалевали и отвечали на эту вдруг закинутую голову или упавший до шепота грудной голосок своими наивными ребяческими грубостями.

Итак, они сидели на лавочке. Орлов, Чернецкая, Фейгензон. У Орлова был мужской подбородок и темные тяжелые глаза, которыми он внимательно рассматривал все тонкие талии, все крепкие, как шишечки на молоденьких елках, соски, все вспыхивающие бедра. Взгляд этот был намного старше самого Орлова и изнурял его. Он был рассчитан на то, что Орлову не тринадцать, а по крайней мере семнадцать или даже побольше, когда человек уже представляет себе, что ему делать с женскими талиями, чтобы понапрасну не мучиться. Раздался звонок, одновременно с которым Фейгензон тяжело вздохнула и поднялась, а они, слегка касаясь друг друга, продолжали сидеть, словно им и впрямь было важно, чем кончится эстафета, кто быстрее добежит до стенки — Лapidус из команды мальчиков или Карпова Татьяна из команды девочек, поэтому, как только мягкая и неуклюжая Фейгензон поднялась, они одновременно увидели, что влажная лавочка, только что освободившаяся от нее, густо испачкана кровью. Орлов понимающе усмехнулся и заиграл своими тяжелыми темными глазами, а на щеках у Чернецкой вспыхнул сухой красный шиповник.

— Бедные вы, бабы, — вздохнул Орлов, у которого заныл вдруг низ живота и стало кисло во рту. — Достается вам... Бедные...

И преодолевая дрожь в коленях, пошел к двери.

— Куда? — зарычал на него потный Николай Иванович. — А дневник?

— У меня освобождение. — Орлов приостановился. — Зачем вам мой дневник?

— Что-о-о-о? — заорал Николай Иванович. — Ты с кем разговариваешь? На кого голос поднимаешь?

— Я не поднимаю. — Мощный Орлов опустил глаза. Желваки у него заходили. — Я вам объясняю: освобождение после гриппа.

Что померещилось Николаю Ивановичу, Бог его знает. Но — как это бывало всегда, когда подступало бешенство, — он, выкатив наружу застланные кровью белки, рванул Орлова за воротник и с воплем «молчать!» бросил его обратно на лавку. На глазах у Чернецкой, потому что, кроме них, в физкультурном зале никого не было. Но именно оттого, что это случилось на глазах у женщины, которую он только что остро почувствовал, тринадцатилетний Орлов вскочил и басом, не ломающимся, а настоящим, глубоким, хлынувшим из его ходуном заходившего горла, выдохнул прямо в запенившийся рот Николая Ивановича:

— Сам молчать!

И Николай Иванович, на которого неоднократно жаловались пухлой Людмиле Евгеньевне, директору школы, родители тех детей, которых он чудом не изувечил, вдруг действительно замолчал и махнул по своей привычке рукой с темными и плоскими ногтями. Потащился в учительскую, бормоча себе под нос те недожеванные ругательства, которые он бормотал когда-то, сидя, молодым и кудрявым, в гниющем окопе.

— Гена, — задыхаясь, сказала Чернецкая, маленькая женщина, только что присутствовавшая при совершенном ради нее дерзком поступке и жадными ноздрями уловившая запах вызванного ее телом желания. — Разве можно так? Ты же его знаешь...

— А тебя — нет, — спокойно, новым своим, только что прорвавшимся басом ответил Орлов. — Пора бы и нам познакомиться.

Они принялись знакомиться на глазах у обоих классов, слегка растерявшихся от этого столь бурного и откровенного любовного праздника: он смотрел на нее, она смотрела на него, и, если гуляла в перемену под ру-

ку с другой девочкой, чаще всего своей ближайшей подругой — длинной, глуховатой Белолипецкой, Орлов неизменно шел сзади, посмеиваясь, прожигая темными глазами ее покатые плечи, узкую спину, маленькие выпуклые ягодички, взволнованно вздрагивающие от его приклеенного, как горчичник, взгляда. Ясно было, что он ждет не дождется, чтобы скорее закончились уроки и наступила та неуверенная свобода, на которую со всех сторон зарились бывшие фронтовики, инвалиды, матери-одиночки, — вся эта беспокойная учительская шайка, где каждый так и норовил впитаться в сладкую детскую душу, вывернуть ее наизнанку, вытряхнуть из нее все не дозревшие еще семена, все нежные косточки, заорать, наливаясь кровью, пристыдить, разодрать когтями, лишь бы отомстить за свое собственное, засиженное навозными мухами, водкой пропахшее детство.

Сразу, как только кончались уроки, смеющийся Орлов норовил подловить Чернецкую в дальнем углу раздевалки и там, среди вороха мокрых, потертых воротников, сброшенных ботинок, клетчатых шарфов, вязаных шапок, прижать ее, розовую, с опущенными глазами, к стене или вдавить ее маленькое нежное тело в гущу растерзанных курток, дожждаться, пока она перестанет сопротивляться, застынет под его большими руками, и тогда он, мучаясь разламывающей низ живота болью, начинал осторожно покрывать поцелуями это лицо с узкими глазами молоденькой гейши, острый подбородок, белую шею, норовя — внутри поцелуя — еще и расстегнуть верхнюю пуговицу коричневого платья и запустить что удастся — руки ли, губы ли — в раскаленную вздрагивающую развилку.

Так они дожили до лета, изнуряя друг друга прикосновениями, обжигая глазами, пока не наступила пыльная московская жара, духота, не слабеющая даже ночью,

и в первую неделю июня мама Чернецкой начала стелить себе в гостиной, откуда ей было легче прокрадываться в прихожую, не боясь разбудить чутко похрапывающую в чуланчике домработницу Марь Иванну. В прихожей, где висел большой черный телефон, она торопливо набирала номер и, приглушая голос, зажимая трубку ладонью, по часу шепталась с кем-то, изредка переходя на испанский, постанывала и один раз даже вскрикнула, громко, как голубь, влажно, коряво и глухо, но не испугалась своего крика, потому что мужа ее, отца Натальи Чернецкой, заведующего гинекологическим отделением больницы номер 59, не бывало дома в это время, и где он находился — то ли принимал роды, то ли сам делал детей другим женщинам, — мало беспокоило ее, синхронную переводчицу с испанского языка, прогрызшую себе дорогу наверх, в каменный, завитой, как улитка, Дом дружбы. За несколько этих лет, пока она грызла, еле слышно посапывая от напряжения, торопливо замазывая ярко-малиновой помадой пересыхающие от улыбки и болтовни губы, пришлось мимоходом проглотить нескольких неприятных соперниц, норовивших туда же, куда и она, так же, как она, терпеливо подскакивающих на чужих матрасах внутри чужих дач рядом с чужими, хрипловато икающими от белуги мужьями, которые, в конце концов, и решали, которая из этих женщин подскочила выше других и с кем из них можно, как говорится, идти в разведку.

Она победила соперниц — тихо, умно, незаметно, и тут же он стал безразличен ей — ее собственный муж с оттопыренными от благодарных денег карманами, потому что теперь она уже не только сама получала подарки — духи, мохеровые кофточки, блестящие колготки, — но оказалась выездной, начала ездить на Кубу, где иногда даже сходила за своей из-за черных глаз и испанско-

го темперамента, в то время как настоящие свои — тоже черноглазые и темпераментные — отдавались советским морячкам за бутылку водки и флакон одеколona. О девочке, спящей под зорким присмотром Марь Ивановны, мягко и празднично закруглевшей своей уже не вполне детской плотью в эту последнюю зиму, она заботилась ровно настолько, насколько нужно было заботиться о ребенке молодой энергичной женщине, с головой ушедшей в работу, но каждый раз, когда черноусые кубинские друзья спрашивали ее о семье, радостно отвечала, что у нее есть дочка, и тут же показывала фотографию, искренне любясь нежным, излучающим свет изображением: она сама и ее девочка, сидящие в обнимку под русской березой. Черноглазой грызунье не приходило, разумеется, в голову, что каждый раз, когда она босиком прокрадывается в коридор позвонить, девочка со свесившимися набок спутанными каштановыми кудрями приподнимается на локте и, прикрыв узкие глаза, изо всех сил прислушивается к голубиному материнскому клекоту.

Они занимали большую профессорскую квартиру — Неопалимовский переулок, дом 18 дробь 2, — и сначала с ними жили родители ее мужа, которые постепенно умерли, первой — мать, а прошлым летом отец, тоже гинеколог, очень известный, не боящийся даже делать аборт прямо у себя в кабинете, превращенном после его смерти в комнату внучки.

В дни, когда предполагался аборт, Марь Иванна, в чистом хлопчатобумажном платке, с твердо поджатыми тонкими губами, вводила маленькую женщину Чернецкую гулять на Девичку — так назывался сквер, где она, твердогубая, крепкорукая Марь Иванна, глаз не спускала с аккуратной золотисто-коричневой головки, единственной радости своей осиротевшей жизни. Двадцать шесть

лет было Марь Иванне, когда она, похоронив быстро умершего от непонятной болезни жениха, попала в город, долго скиталась по чужим домам, мыкалась по чужим семьям, пока не очутилась наконец в Неопалимовском переулке, дом 18 дробь 2, где через год после ее прихода родилась у молодой хозяйки Стеллочки чудодевочка с узенькими глазами. Тут Марь Иванна успокоилась и стала эту девочку растить. Поначалу ей помогала профессорская жена Любовь Иосифовна, иссушенная ревностью, старая, седая, с роскошными, до старости сохранившимися волосами, но потом она начала болеть, чахнуть, ездить по бесконечным санаториям, и силы на внучку закончились. Хорошо, если почитает ей перед сном какую-нибудь книжечку, Стеллочки-то и вовсе не бывало дома.

После смерти Любви Иосифовны муж ее, выйдя на пенсию, продолжал принимать больных у себя в кабинете, а все аборт назначал почему-то на пятницу. Марь Иванна уводила Чернецкую гулять и, возвратившись, накрывала обедать в гостиной. Усаживались втроем: дед, домработница и ребенок — внучка. После супа старый профессор шел в свой кабинет и говорил лежащей на кушетке, слегка всегда окровавленной (ноги с внутренней стороны), безобразно бледной пациентке:

— Можете потихоньку вставать и идти домой. Подыметя температура — звоните.

Никто и никогда не убирал у него в кабинете после аборта, даже Марь Иванна не допускалась, и маленькую женщину Чернецкую до тошноты испугало однажды то, как дед появился с мокрой и бурой от крови тряпкой в руках, сторбившись, быстро прошел мимо них с Марь Ивановой, опустил глаза, скользнул в уборную и там долго, с силой дергал за ручку, — вода лилась мощно, бурно, а дед все не выходил, и, когда наконец вышел, на лице у него было сердитое выражение.

В июне оба восьмых класса — «А» и «Б» — отправились в трудовой колхозный лагерь для прохождения летней практики с воспитательными целями. Лагерь был разбит на опушке леса в километре от деревни, сорока километрах от города, жить нужно было в палатках, вставать почему-то в шесть, а ложиться в десять, злобно кусались комары, особенно малярийные, в палатках было душно, старые девы — учительницы (Нина Львовна, Галина Аркадьевна) терзали комсомольцев днем и ночью, смягчаясь только тогда, когда начинались песни у костра, и в частности «Синий троллейбус».

Под «Синий троллейбус» неистовые старые девы опускали глаза, начинали перебирать своими неухоженными пальцами края самовязанных ядовито-розовых или тускло-серых с коричневым свитерков, неуверенно подтягивать неверными голосами и, растворяясь своими никем не целованными, никому не понадобившимися телами с клубочками глубоко запрятанных, сморщенных душ в гитарной истоме, чувствовали, что все еще может перемениться, стать голубым и зеленым, и тогда их доцелуют, долюбят, воскреснут Сережки с Малой Бронной и Витьки с Моховой, которые были им, здоровым и плотно сбитым педагогам Нине Львовне и Галине Аркадьевне, предназначены, а вот не вышло, не сбылось, лежат в земле сырой, а поверх отвоеванных у фашистов полей стелется туман, и плывут по нему черный буйвол, и белый орел, и форель золотая, а иначе зачем тра-та-та-та-та-та живу?

И Нина Львовна, и Галина Аркадьевна не сразу поняли, что происходит между Орловым и Чернецкой. Многое сбивало с толку. Во-первых, Чернецкая была большой активисткой и отличницей, на которую не хотелось сердиться, потому что были для этого другие — неприятные, несговорчивые девочки, например Соколова — огромная, с огненного цвета тяжелой, в жестких

кольцах, косой, которая всегда была растрепанной, а щеки бордовыми, а смех оглушительным, и никогда он не умолкал, этот смех, даже ночью, когда, казалось, все уже давно заснули, и тут вдруг, в боковой палатке, вспыхивал хохот дикой и бессовестной Соколовой. Кроме нее было еще несколько таких же, отвратительных для Галины Аркадьевны и Нины Львовны, будущих женщин, ироничных, насмешливых, застенчивых, себе на уме, которые не желали понимать (так уж, наверное, были воспитаны!), насколько все вообще должны быть благодарны нашей советской власти, и вместо этого усмехались, переглядывались с такими же, как они, замкнутыми и насмешливыми мальчиками во время политинформации или когда приезжали в школу уважаемые люди. Мать Зои и Шуры Космодемьянских, например, или любимая девушка бесстрашного весельчака Сережки Тюленина, замученного вместе с Олегом Кошевым, эта самая Валентина, о которой великий писатель Фадеев написал (ах, весна, вишни цветут, жить бы да жить ребятам!), написал Фадеев, что у нее на ногах был золотистый пушок, и Сережка, весельчак, бесстрашный (жить бы да жить!), прямо перед выполнением ответственного задания комсомола полюбовался еще раз этим золотистым пушком, и потом ему было что вспомнить в фашистском застенке, когда иголки загоняли под ногти, кипятки лили на голову... Было что вспомнить.

Ну и что же, что сама Валентина читала о Сережке Тюленине по тетрадке, а ноги у нее были как два сучковатых полена? Ну и что же, что — сутулая, неприветливая, в коричневом берете, — дочитав, она курила папиросы «Север» — одну за другой — прямо в актовом зале, не стесняясь детей, и явно норовила поскорее улизнуть, натянуть на свою горбатую спину прокуренное пальтишко? Человек через такое прошел, потерял единствен-